

Лев Николаевич

Толстой

После бала

(1903 г.)

Государственное издательство

художественной литературы

Москва – 1952

Электронное издание осуществлено

компаниями ABBYY и WEXLER

в рамках краудсорсингового проекта

«Весь Толстой в один клик»

Организаторы проекта:

Государственный музей Л. Н. Толстого

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 34-го тома

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной

Российской государственной библиотекой

Электронное издание

90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого

доступно на портале

www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 34-му тому

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать

в настоящем издании

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам

report@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928–1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYУ, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYУ FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-

томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

в 1900 г.

** ПОСЛЕ БАЛА

(Рассказ)

– Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что всё дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что всё дело в случае. Я вот про себя скажу.

Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более, что рассказывал он очень искренно и правдиво.

Так он сделал и теперь.

– Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого.

– От чего же? – спросили мы.

– Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.

– Вот вы и расскажите.

Иван Васильевич задумался, покачал головой.

– Да, – сказал он. – Вся жизнь переменялась от одной ночи, или скорее утра.

– Да что же было?

– А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое, у нее уже дочери замужем. Это была Б..., да, Варенька Б... – Иван Васильевич назвал фамилию. – Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо – как будто не могла иначе, – откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.

– Каково Иван Васильевич расписывает.

– Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег – ничего не пили, но не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.

– Ну, нечего скромничать, – перебила его одна из собеседниц. – Мы ведь знаем ваш еще дагеротипный портрет. Не то, что не безобразен, а вы были красавец.

– Красавец, так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты – знаменитые в то время крепостные помещика любителя, буфет великолепный и разлитое море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду, танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых

лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня: препротивный инженер Анисимов – я до сих пор не могу простить это ему – пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую, стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.

По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти всё время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней, и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и в знак сожаления и утешения улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне: «encore». [1] И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.

– Ну как же не чувствовали, я думаю очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело, – сказал один из гостей.

Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:

– Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы кроме тела ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Alphonse Karr – хороший был писатель – на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то, что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете...

– Не слушайте его. Дальше что? – сказал один из нас.

– Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали всё тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамыши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.

– Так после ужина кадрили моя? – сказал я ей, отводя ее к ее месту.

– Разумеется, если меня не увезут, – сказала она, улыбаясь.

– Я не дам, – сказал я.

– Дайте же веер, – сказала она.

– Жалко отдавать, – сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.

– Так вот вам, чтоб вы не жалели, – сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне.

Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.

– Смотрите, papà просят танцевать, – сказала она мне, указывая на высокую, статную фигуру ее отца полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.

– Варенька, подите сюда, – услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и с елисаветинскими плечами.

Варенька подошла к двери, и я за ней.

– Уговорите, ma chère, [2] отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславич, – обратилась хозяйка к полковнику.

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми, à la Nicolas I подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными, стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки, николаевской выправки.

Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, – «надо всё по закону», – улыбаясь сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.

Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его, то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг зала. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких, белых, атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками – хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четверугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает

модных сапог, а носит домильные», думал я, и эти четверугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделять. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер.

– Ну всё равно, пройдите теперь вы с ней, – сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.

Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно нежное чувство.

Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.

После ужина я танцевал с нею обещанную кадрили, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое всё росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.

Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидел, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит: «гордость? да?» и радостно подает мне руку, или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.

Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне

стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу.

С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посидел дома, прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масляничная погода, был туман, насыщенный водою снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили Б. тогда на конце города подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом – девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой. И лошади, равномерно покачивающие под глянцовитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле возов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими, всё было мне особенно мило и значительно.

Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидел в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное и услышал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня всё время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка.

«Что это такое?» подумал я и по проезжанной по середине поля, скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, ученье», подумал я и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик и не переставая повторяли всё ту же неприятную, визгливую мелодию.

– Что это они делают? – спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною.

– Татарина гоняют за побег, – сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов.

Я стал смотреть туда же и увидел посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад – и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед – и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад.

И, не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.

При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только, когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали, и, когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидел между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.

– О, господи, – проговорил подле меня кузнец.

Шествие стало удаляться, всё так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и всё так же били барабаны и свистела флейта, и всё так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат.

– Я тебе помажу, – услышал я его гневный голос. – Будешь мазать? Будешь?

И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина.

– Подать свежих шпицрутенов! – крикнул он, оглядываясь, и увидел меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова: «Братцы, помилосердуйте», то я слышал самоуверенный, гневный голос полковника, кричащего: «Будешь мазать? Будешь?»

А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услышал и увидел опять всё и вскочил.

«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю», думал я про полковника. «Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что

я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян.

Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было – дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался – и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.

– Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились, – сказал один из нас. – Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было.

– Ну, это уж совсем глупости, – с искренней досадой сказал Иван Васильевич.

– Ну, а любовь что? – спросили мы.

– Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на-нет. – Так вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите... – закончил он.

Ясная Поляна.

20 августа

1903 г.

ПЛАНЫ И ВАРИАНТЫ

ПОСЛЕ БАЛА

№ 1 (рук. № 1).

ДОЧЬ И ОТЕЦ

(Рассказ)

– Вот вы говорите, что надо самому понять, что хорошо, что дурно. А как понять это мальчику, когда он видит вокруг себя дурное, а люди всё это дурное считают хорошим. Я про себя скажу. – Так заговорил почтенный Иван Васильич после разговора, шедшего между молодежью о том, чем должно руководствоваться для определения нравственного и безнравственного. Никто, собственно, не говорил, что надо самому понять, что нравственно и что безнравственно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора, мысли, и по случаю этих мыслей рассказывать целые эпизоды из своей длинной, интересной жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, и увлекался рассказом тем более, что рассказывал очень искренно [и] очевидно правдиво. Так он сделал и теперь. – Да, вот и разберитесь, что хорошо, что дурно, когда вам 20 лет да еще вы влюблены.

– Это вы, Иван Васильевич, были влюблены? – спросила у него бойкая, хорошенькая приятельница его дочери.

– Да еще как, – самодовольно улыбаясь под седыми усами, сказал Иван Васильевич. – Был я студентом. Обыкновенно на провинциальные университеты смотрят свысока, а по-моему провинциальные университеты лучше столичных. И тебе советую отдать сыновей куда-нибудь в Харьков, Казань, Киев, а не в Москву. Не знаю, как теперь, а в мое время никаких у нас в университете идей и тем паче политических теорий и демонстраций не было. Были хорошие профессора, и были студенты, которые сильно любили науку и учились под руководством старших, как и свойственно юношам от 16 до 20–25 лет, и были студенты, к которым я принадлежал, которые учились только настолько, чтобы переходить с курса на курс, и занимались тем, чтобы шалить, петь, играть, иногда выпить, а главное влюбляться. И я, право, благодарен за эту судьбу: за то, что я был в провинциальном университете и принадлежал к этому роду юношей, а не был занят, как теперь ваша молодежь, – простите, – невежественная, самоуверенная, заучившая одну какую-нибудь последнюю теорию по книжке и воображающая, [3] что она всё знает и что ей надо не учиться, а учить. Я благодарен за то, что смолodu был молод, а стал думать об общих вопросах жизни тогда, когда ум окреп, и я узнал жизнь. Ну да не в том дело. Был я из веселых молодых студентов и богатеньких. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), устраивал с товарищами вечеринки с шампанским (в то время мы из вина ничего кроме шампанского не пили) и, главное, танцевал на вечерах и балах (у нас были прекрасные балы). Танцевал я хорошо. И теперь могу стариной тряхнуть и был не безобразен.

– Ну нечего скромничать, – перебила его опять бойкая барышня, – мы ведь видим вас теперь в 75 лет и знаем ваш еще дагеротипный портрет. Не то что не безобразен, а вы были красавец.

– Красавец – так красавец, но не в том дело. Я говорил, что влюблялся, но строго говоря я был в это время по-настоящему влюблен только три раза. – И загибая пальцы большой левой руки, Иван

Васильевич назвал три фамилии. – Последняя была Варинька Б..... Это была моя самая прекрасная и сильная любовь, и про нее–то я и хочу рассказать.

– Варенька эта была очень хороша. Вот это была точно красавица. Иначе и назвать ее нельзя было: высокая, стройная, необыкновенно прямо державшаяся, – она иначе не могла – и это давало ей царственный, величественный вид, который был бы смущающий, если бы не ласковая, ласковая, всегда веселая улыбка у рта, и прелестных блестящих глаз, и щек, и ямок, и всего милого существа.

– Каково Иван Васильевич расписывает.

– Да как не расписывай, расписать нельзя. Ну вот на маслянице был бал у губернского предводителя – богача хлебосола, добродушнейшего старичка с великолепной женой, всегда в брильянтовой фероньерке, и с буфетом разлитого моря шампанского. Я танцевал и, разумеется, не пил шампанского, потому что был совсем пьян от любви. Варинька была не из богатого семейства, она была дочь полковника, воинского начальника гарнизона. Мать ее была совсем вульгарная женщина. Но их везде приглашали и по положению отца – для губернии и воинский начальник гарнизона лицо, – а, главное, за неоспоримую, признаваемую всеми прелесть дочери, украшавшей всякий бал.

Мне не удалось с ней танцевать мазурку. Препротивный инженер, Анисимов – я до сих пор не могу простить это ему – пригласил ее, только что она вошла, а я, заезжая к парикмахеру за перчатками, опоздал. Я танцевал с маленькой миленькой немочкой, но был очень неучтив – не говорил с ней и не смотрел на нее, я видел только высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые, блестящие глаза. Не я один. Я замечал, что все смотрели на нее и любовались ею, любовались и отвергнутые ею мужчины и завидующие ей женщины, которых она затмила всех.

По закону, так сказать, я не танцевал с нею, но по духу всю мазурку мы танцевали только с нею. Она не смущаясь через всю залу шла ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней, и она не угадывала моего качества, она делала презрительную гримаску, подавая руку в высокой лайковой перчатке не тому, кому хотела. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, улыбаясь, хоть и запыхавшись, говорила мне: епсого. Она обещала мне кадрили после ужина, и когда я передавал назад ее веер, она оторвала от него перышко и дала мне. Я поцеловал его и спрятал в перчатку. Я был не только весел и доволен, но я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое–то неземное существо, не знающее зла и способное на одно доброе.

Усталые музыканты перешли опять с вальса на мазурку, из гостиных поднялись от карточных столов папаши и маменьки, <ливрейные> лакеи забегали, пронося что–то. Очевидно, дело шло к ужину.

– Вот славная парочка, – услышал я чьи–то слова в то время, как мы с

Варенькой в сотый раз пролетали вдоль залы, и я делал задерживающее па, в то время как она плавно в своих белых атласных башмачках обходила вокруг меня.

– Смотрите, папа просят танцевать, – сказала мне Варенька, еще веселее улыбаясь и глазами указывая на высокую <красивую> статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами.

– Варенька, подите сюда, – услышали мы голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и подошли к двери, у которой стояли полковник, хозяйка и вышедшие из-за карточных столов родители.

– Ну пожалуйста, пройдите с дочерью, – говорила хозяйка полковнику. Старик, который был похож на дочь, несмотря на белые короткие волосы и белые *à la Nicolas I*, подстриженные усы и подведенные к ним белые же бакенбарды. Та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в глазах и губах старого полковника и в связи с его сединой казалась мне особенно привлекательной. Я обнимал в то время весь мир своей любовью, освобожденной во мне любовью к Вареньке, но к отцу ее я испытывал в эту минуту какое-то обожание. Когда же он, поломавшись немного, вынул шпагу из портупей и отдал ее услужливому хозяйскому племяннику и, натянув замшевую перчатку на правую руку, – «надо всё по закону», улыбаясь, сказал он – и, взяв руку дочери, стал в четверть оборота прочь от нее, выжидая такт, я был в восхищении от него.

Он топнул раз, другой, и огромная фигура его то легко и плавно, то шумно и бурно с топотом каблучков и ноги об ногу задвигалась вокруг залы. Не знаю, кто из них был лучше. Оба казались мне прелестны. Но и не я один. Вся зала с восторгом смотрела на них, и все громко зааплодировали, когда он, подпрыгнув вдруг, с прыжка упал на одно колено, обвел ее вокруг себя. Окончив танец, он нежно, мило обхватил ее руками за шею и поцеловал в лоб, повел к ее кавалеру, раскланялся и простился с хозяевами. Его уговаривали остаться ужинать, но он сказал, что не может, потому что у него на завтра есть дело. После ужина я танцевал с нею. Мы ничего не говорили о своей любви, но я почти был уверен, что она любит меня, и был невыразимо счастлив и не хотел портить своего счастья.

Когда я приехал домой, разделся и подумал о постели, я увидел, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко с ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне уезжая, когда садилась в карету, и я подсадил ее мать, а потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собою то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, говорит мне: «вы <лопух> розан?», слышу ее голос или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и из подлобья смотрит на меня ласкающими глазами; но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается подле него, с гордостью и радостью за себя и за него взглядывает на любующуюся публику. Так что я вижу и ее и его и соединяю их в одном нежном, умиленном чувстве.

Заснуть было невыносимо. Я оделся, вышел в переднюю, надел шинель и пошел бродить по городу. Была самая масляничная погода. Снег таял, и

был туман. С бала я уехал часа в 4, дома просидел часа два, так что, когда я, выйдя со двора, проходил в темноте с час, начало светать. Я вдруг почувствовал усталость, и мне захотелось спать. Я повернул к дому, но вдруг услышал с площади странные звуки флейты и барабана. Невольно я направился к площади. Было уже совсем светло, когда я вышел на площадь. На площади была, как мне показалось сначала, толпа солдат в черных мундирах, и среди них слышались звуки флейты, барабана и еще какие-то странные звуки. Я подошел ближе и увидел высокую фигуру полковника в фуражке и шинели с своим румяным лицом, белыми усами и бакенбардами. Лицо его было совсем другое, чем на бале. Глаза были нахмурены, скулы сжаты, и изредка он что[-то] сердито и мрачно выкрикивал. Когда я подошел ближе к редкой толпе зрителей, которые смотрели на то, что делалось, я увидел, что то, что мне показалось толпой солдат, было странное построение. Солдаты стояли кругом друг против друга на расстоянии 5 или 6 шагов. У каждого солдата в руке была гибкая палка длиной более двух аршин и толщиной с палец, два барабанщика и флейщик стояли посередине круга. В середине же круга был офицер; с внешней же стороны круга ходил полковник Б. Он не поглядел в мою сторону и не узнал меня, а что-то сделал с одним из солдат, сердито прокричав что-то. Я всё не понимал, что это, до тех пор, пока к тому месту, где я остановился, не стали приближаться шедшие люди между двумя рядами солдат. Шедшие люди были два солдата с скрещенными ружьями, к которым к самым штыкам привязано было руками маленькое черноватое существо с <оголенной> спиной и задом, на которых, мне показалось, было надето что-то странное. Только когда эти люди поравнялись со мною, я понял, что это было. Привязанный к ружьям человек был прогоняемый сквозь строй, сквозь 3000 палок, как мне сказали, бежавший солдат татарин. Все солдаты, вооруженные палками, должны были ударять по спине проводимого мимо их человека. Полковник кричал на людей, которые недостаточно крепко били, и бил их за это, угрожая еще жестоким наказанием. Солдаты взмахивали один за другим палками и ударяли по спине волочимого мимо них человека. Спина этого человека была так избита, имела такой странный, вспухший кровавый вид, что я принял эти раны за одежду. Влекомый на ружьях человек то откидывался назад, и тогда солдаты со средоточенными, серьезными лицами толкали его вперед; то падал наперед, и тогда те же солдаты удерживали его от падения и медленно вели вперед, доставляя возможность солдатам, стоящим в строю, наносить маленькому татарину самые сильные удары. Татарин так слабо стонал, что из-за равномерно с двух сторон с свистом и шлепаньем падавших ударов палок, стоны его слышны были только в самой близи. За каждым ударом, шлепавшим по сырому окровавленному мясу спины, маленький, черноватый, с серым лицом татарин поворачивался с слабым стоном в ту сторону, с которой падал удар.

— Я тебя научу, как мазать, — услышал я голос полковника. — <Петров, займи Игнатова>. Я тебе помажу. — И вслед за этим послышались удары и зверские крики: — Будешь мазать, будешь?

—

Что ж вы думаете, что я решил, что полковник изверг, что то, что я видел, было преступленье. Ничуть. Правда, любовь моя, т. е. та

прелесть, поэзия любви, которую я испытал в тот вечер, кончилась. Я не мог теперь не видеть в ней, в ее этой ласкающей улыбке, того, что я видел в ее отце на площади. Но я не смел, не мог решить, что то, что я видел, было дурно. Это было ужасно, но если оно делалось, значит оно было необходимо, оно было стихийно <вроде как грозы, бури>, и спорить с этим нельзя было, а надо было понять это и подчиниться этому. И я не мог ни того, ни другого, но и не мог решить, что это дурно. Вот и говорите после этого.

Л. Т.

1903, 6 августа Ясн. Пол.

* № 2 (рук. № 3).

<Хорошо было во всех то, что мы не лгали, представляя из себя [4] людей, озабоченных только решением общественных вопросов, мучениками принципов – это 20-то лет, – а были просто молодые люди, какие всегда были и бывают молодые люди. Были такие, что интересовались точно наукой; были – большинство – такие, которые учились для карьеры и для того, чтобы папаша с мамашей не сердились; [5] и были такие, к каким и я принадлежал, которые были заняты только тем, чтобы как можно веселее провести время.> И я право благодарен судьбе за то, что был в провинциальном университете в 40-х годах, <а не был, как теперешняя молодежь, – простите, – невежественная, самоуверенная, гордящаяся тем, что она молодежь. По-моему молодежь, как и невинность, мила, когда она не знает себе цены, а когда же она хвастается этим, она противна. Я благодарен судьбе за то, что и с молоду был молод, а стал думать об общественных вопросах жизни тогда, когда ум окреп и узнал жизнь.>

* № 3 (рук. № 2).

Когда делали фигуры мазурки, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбаясь, говорила мне: «encore». И я вальсировал еще и еще, <и когда надо было кончать, как-то неестественно казалось выпустить ее руки и перестать чувствовать движение ее тонкой спины на своей обнимающей ее левой руке.>

* № 4 (рук. № 5).

Заснул я только к вечеру и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян, так что только на другой день опомнился совсем и стал ходить в университет и жить попрежнему.

Ну как же тут разобрать: хорошо это или дурно? Если это делалось и делалось всеми по приказанию свыше, то стало быть это так нужно было. Я так и рассуждал и после университета поступил в военную службу и хотя и не сумел выработать в себе такой же твердости, как у полковника, как видите, вышел в отставку поручиком, все-таки считал, что военная служба хорошее дело.

– Ну, а как же любовь? – спросили мы.

– Любовь как-то с этого самого бала пошла на убыль. Когда она так же, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице на минуту задумывалась, выражение лица ее казалось мне холодно жестоким, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось [6] как-то неловко, неприятно. И я всё реже и реже стал видаться с ней. Так и кончилось ничем. А она вышла замуж, и прекрасная вышла женщина.

– Ну, у вас все прекрасные, – сказал кто-то.

– Нет, истинно-прекрасная жена и мать. И, может быть, я бы счастливее был, кабы женился на ней, разумеется, если бы она пошла. Вот и судите тут, а вы говорите.

* № 5 (рук. № 6).

Я реже стал видаться с ней. И любовь моя так и кончилась ничем, а я поступил, как хотел, в военную службу и старался выработать в себе такое же твердое сознание своего долга, – я так называл это, – как у полковника, и отчасти достигал этого. И только к старости теперь понял весь ужас того, что я видел и что сам делал. Вот и судите тут, а вы говорите.....

Комментарии Б. М. Эйхенбаума

«ПОСЛЕ БАЛА»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ

27 апреля 1903 г. к Толстому обратился писатель Шолом-Алейхем (С. Н. Рабинович) с просьбой дать что-нибудь для литературного сборника в пользу евреев, пострадавших от кишиневского погрома. 6 мая 1903 г. Толстой отвечал Шолом-Алейхему: «Я очень рад буду содействовать вашему сборнику и постараюсь написать что-либо соответствующее обстоятельствам. К сожалению, то, что я имею сказать, а именно, что виновник не только кишиневских ужасов, но всего того разлада, который поселяется в некоторой малой части – и не народной – русского населения – одно правительство, к сожалению, этого я не могу сказать в русском печатном издании» (т. 73). Вскоре после этого письма, 9 июня 1903 г., Толстой в Дневнике, среди других замыслов, называет «Рассказ о бале и сквозь строй» (т. 54, стр. 177). В последующие дни, обдумывая сюжеты новых произведений, Толстой записывает в Дневник: «2) В еврейский сборник: веселый бал в Казани, влюблен в <Ко[рейшу]> красавицу, дочь воинск[ого] начал[ьника]– поляка, танцую с нею; ее красавец старик–отец ласково берет ее и идет мазурку. И на утро после влюбленной бессонной ночи звуки барабана и сквозь строй гонит татарина, и воинск[ий] начальник велит больней бить. (Очень бы хорошо)» (т. 54, стр. 178).

Первый набросок рассказа, как это видно по дате, поставленной Толстым под текстом, сделан был в Ясной Поляне 6 августа 1903 г. Его название – «Дочь и отец». 7 августа была сделана копия с этого текста и в нее внесены большие поправки. Об этом периоде работы над рассказом записано в дневнике А. Б. Гольденвейзера: «За два дня моего пребывания в Ясной (6–го и 7–го) Л. Н. написал совсем новый, очень сильный рассказ – «Отец и дочь», который, как он сказал, «пока так и останется». Рассказом этим Л. Н. сам, кажется, остался очень доволен и думает, что можно будет в нем ничего не переделывать» (А. Б. Гольденвейзер, «Вблизи Толстого» I, М. 1922, стр. 114). Действительно, 9 августа 1903 г. в Дневнике Толстого отмечено: «Написал в один день Дочь и отец. Не дурно» (т. 54, стр. 189). Однако, как видно по копиям, Толстой тотчас же принялся за переделку рассказа. Последняя копия датирована 20 августа 1903 г. Под этим же числом есть запись и в Дневнике: «Только нынче кончил сказки – и не три, а две. Недоволен. Зато «А вы говорите»[7] недурно» (там же, стр. 189). Особенно сильным переделкам подверглась вторая часть рассказа (сцена экзекуции), в первом наброске очень сжатая, и заключение. Однако окончательной отделкой рассказ не получил и при жизни Толстого напечатан не был.

В рассказе «После бала» нашли отражение действительные события, о которых в статье «Николай Палкин» (1886) Толстой, описывая сцену экзекуции, замечает: «Что было в душе тех полковых и ротных командиров: я знал одного такого, который накануне с красавицей дочерью танцевал мазурку на бале и уезжал раньше, чтобы на завтра рано утром распорядиться прогонянием на смерть сквозь строй

бежавшего солдата татарина, засекал этого солдата до смерти и возвращался обедать в семью» (т. 26, стр. 559). Это воспоминание относится, повидимому, к казанскому периоду жизни Толстого (см. т. 54, стр. 519–520).

Самой экзекуции Толстой, однако, не наблюдал. В 1898–1899 гг. он встретился в Москве с писателем И. Н. Захарьиным (Якуниным), который рассказал, как ему пришлось по наряду присутствовать при наказании солдата – прогоне сквозь строй. Толстой очень заинтересовался: «Вы не описали этого ужасного наказания?» – «Нет». – «Напрасно. Такие вещи непременно надо печатать... Вы непременно, непременно это напишите, и у вас это, я уверен, выйдет хорошо... Рассказ должен производить самое тяжело–страшное впечатление. Мне, к счастью, не довелось видеть этого ужаса» (И. Н. Захарьин–Якунин, «Встречи и воспоминания» СПб. 1903, стр. 224).

Впервые рассказ «После бала» был напечатан в издании: «Посмертные художественные произведения Льва Николаевича Толстого под редакцией В. Черткова», I, М. 1911, стр. 117–128.

В настоящем издании печатается этот текст, проверенный и исправленный по рукописям Толстого.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

Общее количество рукописного материала, относящегося к рассказу «После бала», исчисляется в 104 листа.

1. Автограф – в «Яснополянском синем альбоме», лл. 12 об. – 20.

Печатается в вариантах под № 1.

2. Машинописная копия, с многочисленными исправлениями Толстого, 11 лл. 4°. На обложке надпись рукой переписчика: «Дочь и отец. 7 августа». На об. лл. 1, 4 и 9 вставки–автографы. Начало: «Вот вы говорите, что надо». Конец: «А вы говорите после этого».

3. Машинописная копия предыдущей рукописи, с множеством исправлений Толстого. Первоначально содержала 14 лл. 4°. На обложке заглавие «Отец и дочь» зачеркнуто Толстым и вместо него надписано: «А вы говорите». При исправлении копии Толстым значительно сокращена характеристика провинциальных университетов и сильно изменен и расширен конец рассказа. После исправления 6 лл. переложены в следующую рукопись. Начало: «Вот вы говорите, что надо». Конец: «как бывает, а вы говорите».

4. Машинописная копия части предыдущей рукописи. Первоначально содержала 14 лл. 4°. На обложке надпись рукой переписчика: «<Дочь и отец>. А вы говорите. 11 августа и 5 августа». Авторская правка

значительна в сцене экзекуции; большим изменениям и дополнениям подвергся снова конец рассказа.

После исправления 5 лл. переложены в следующую рукопись. Начало: «сказал Иван Васильевич». Конец: «А вы вот говорите».

5. Машинописная копия части предыдущей рукописи. Первоначально содержала 14 лл. 4°. Значительной правке подвергся лишь конец рассказа, начиная со сцены экзекуции. После исправления 10 лл. были переложены в следующую рукопись. Начало: «м[у]зыку, которую я услышал». Конец: «Вот и осудите тут, а вы говорите».

6. Машинописная копия предыдущей рукописи. Первоначально содержала 16 лл. 4°. Рукопись правилась дважды. Исправления значительны по всей рукописи. После исправления два листа были переложены в следующую рукопись. Начало: «Вот вы говорите». Конец: «Вот и судите тут, а вы говорите».

7. Машинописная копия части предыдущей рукописи, 3 лл. 4°. Рукопись неполная. Часть листов не сохранилась; часть переложена в следующую рукопись. Исправления Толстого значительны лишь в первой части описания экзекуции. Начало: «<музыку, которую я услышал>» Конец: «тащили его вперед унтер-офицеры».

8. Машинописная копия части рукописи № 6 и рукописи № 7 и, очевидно, несохранившихся листов рукописи № 7, 17 лл. 4°. Большим исправлениям подверглось начало рассказа.

9. Машинописная копия предыдущей рукописи, 11 лл. 4°. Л. 12 не сохранился. Заглавие «А вы говорите» зачеркнуто, вместо него вписано: «После бала». Исправления значительны во второй половине рассказа, начиная со сцены экзекуции. После исправления 6 лл. и отрезков переложены в следующую рукопись. Начало: «своих маленьких белых атласных». Конец: «как видите, не годился <и нигде не служил>».

10. Машинописная копия части предыдущей рукописи. Первоначально содержала 10 л. 4° (конца нет). Большой правке подверглась вторая половина рассказа: сцена экзекуции и заключение рассказчика. После исправления часть листов была переложена в следующую рукопись. Начало: «[вытяги]вающегося по-военному грудью». Конец: «поторопился уйти домой».

11. Машинописная копия части предыдущей рукописи. Первоначально содержала 14 лл. 4° и 1 отрезок. Конца рукописи нет. Правилась Толстым дважды. Большой правке подверглась сцена экзекуции. После исправления часть листов была переложена в следующую рукопись. Начало: «Жили мы тогда одни». Конец: «с искренней досадой сказал Иван Васильевич».

12. Машинописная копия части предыдущей рукописи, 14 лл. 4°. Последний лист – копия, списанная Н. Л. Оболенским, частью с рукописи № 11, частью с несохранившегося листа. Начало: «Вот вы говорите, что человек». Конец: «А вы говорите... закончил он».

Первоначальное заглавие «А вы говорите» зачеркнуто Толстым и начато «Дочь»; затем и это слово зачеркнуто и надписано «После бала», с подзаголовком: «Рассказ». Рукопись правилась дважды. Исправления немногочисленны, сводятся, в основном, к сокращению текста. В конце рукописи Н. Л. Оболенским поставлена дата: «Ясная Поляна. 20 августа 1903 г.».

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОМУ ТОМУ.

В 34 томе Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого печатаются его художественные и публицистические произведения начала 900-х годов.

Это были годы, когда рабочий класс России поднимался на революционную борьбу с царской властью. «Революционные выступления рабочих и крестьян показывали, что в России назревает и близится революция». [8]

Лев Толстой пристально следил за событиями, происходившими в стране. Острейший интерес у писателя вызывали рабочие стачки и демонстрации, крестьянские восстания и студенческие «беспорядки». В произведениях Толстого начала 900-х годов нашло свое отражение быстрое назревание революционного кризиса в стране.

В канун первой русской революции с особой силой выявились действительно «кричащие противоречия» в мировоззрении и творчестве Толстого. Наряду с беспощадным обличением и критикой буржуазного строя его произведения содержали такие утопические и реакционные «рецепты спасения человечества», которые приносили «самый непосредственный и самый глубокий вред» [9] развертывавшемуся революционному движению.

Резкая критика самодержавно-полицейского государства, правящих классов капиталистического общества, казенной церкви, буржуазной науки и искусства сочеталась в произведениях Толстого этих лет, как и раньше, в 80–90-е годы, с попыткой найти мирный выход из острейших противоречий действительности и своей проповедью религии, «непротивления злу насилием» удержать массы от участия в приближающейся революции.

С обострением революционного кризиса в стране Толстой все более отчетливо представлял себе свои задачи обличителя старого несправедливого общественного устройства.

В июле 1900 года он сообщал дочери Марии Львовне, что статью «Рабство нашего времени» «еще поправляет и все делает ее ядовитее и ядовитее». [10] 31 августа 1900 года он записывает в Дневнике: «Все яснее и яснее представляется обличение неверия и разбойничьего царства. Это нужно писать» [11].

Царское правительство ненавидело и боялось Толстого, великого и бесстрашного критика буржуазно-помещичьего строя. Не осмеливаясь подвергнуть всемирно-знаменитого писателя аресту и заточению, оно преследовало его единомышленников, запрещало многие его произведения, организовало дикую травлю Толстого в охранительной и церковной печати.

Еще в 80-х годах в общество проникли слухи о готовящемся отлучении Толстого от православной церкви и о заточении «еретика» в Суздальский монастырь. В конце 90-х годов, когда был опубликован роман «Воскресение» с его беспощадно обличительным описанием богослужения в тюремной церкви, церковники потребовали расправы с писателем. Мрачный изувер Победоносцев, бывший не только обер-прокурором святейшего синода, но и ближайшим советчиком царя, был изображен Толстым в устрашающей фигуре палача и мистика Топорова. Ни Победоносцев, ни руководимые им пастыри не могли простить писателю его выступлений против казенной церкви, разоблачения церковного обмана.

24 февраля 1901 года «Церковные ведомости при святейшем правительствующем синоде» опубликовали «Определение святейшего синода от 20–22 февраля 1901 г... о графе Льве Толстом». Составлял это «Определение» Победоносцев, редактировал митрополит Антоний, одобрил царь Николай II. Синод приказал во всех церквах Российской империи предать имя Льва Толстого, «еретика и вероотступника», «проклятию и анафеме».

Передовые люди России, трудовой народ ответили на решение синода могучей волной сочувствия великому писателю. В адрес Толстого хлынул поток приветственных писем и телеграмм. 25 марта посетители XXIV передвижной выставки в Петербурге устроили горячую овацию в честь Толстого перед портретом писателя работы И. Е. Репина. Портрет был немедленно снят с выставки. Победоносцев в письме к редактору «Церковных ведомостей» вынужден был признать, что «Послание» синода о Толстом вызвало целую «тучу озлобления» против руководителей церкви и государства. [12]

В. И. Ленин писал в 1910 году по поводу отлучения Толстого: «Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах, жандармами во Христе, с темными инквизиторами, которые поддерживали еврейские погромы и прочие подвиги черносотенной царской шайки». [13]

Актом отлучения Толстого от церкви правительство Николая II добилось только того, что имя писателя стало еще более популярным в стране и за ее пределами. К голосу Толстого миллионы людей во всем мире стали прислушиваться с особенным вниманием.

В «Ответе синоду» Толстой показал, что он не устрасился «анафемы» и не раскаялся в своем «еретичестве». Свой ответ на отлучение он использовал для новых обличений казенной церкви, ближайшей помощницы царского правительства.

Прошло немногим более недели со дня отлучения Толстого от церкви,

как общественное мнение России было взволновано и возмущено новым репрессивным актом самодержавия. 4 марта 1901 года в Петербурге, на площади у Казанского собора, полиция напала на демонстрацию и зверски избила многих ее участников. Волна протеста прокатилась по всей стране.

Толстой, узнав об этих событиях, послал приветственный адрес комитету Союза взаимопомощи русским писателям, закрытому за то, что его члены решительно протестовали против полицейской расправы с участниками демонстрации. Тогда же он написал сочувственное письмо Л. Д. Вяземскому, высланному из Петербурга за попытку остановить избиение демонстрантов.

Под непосредственным впечатлением мартовских событий в Петербурге и полицейских репрессий против студентов Толстой пишет свое обращение «Царю и его помощникам».

Толстой ждал ответа на свое обращение, но его не последовало. Тогда он написал Николаю II пространное письмо о современном положении России. Это письмо 16 января 1902 года было отослано в Петербург. Толстой горячо убеждал царя в том, что «самодержавие есть форма правления отжившая» и что его необходимо заменить демократическим правлением. Он угрожал царю надвигающейся революцией и требовал «развязать рот» народу, уничтожить гнет, «который мешает народу высказать свои желания и нужды». [14]

До глубины души возмущался Толстой полицейскими мерами царского правительства и активно выступал в защиту народа и его передовых людей. В мае 1901 года он горячо вступился за молодого Горького, арестованного и посаженного в Нижегородскую тюрьму. Заступничество Толстого и широкое общественное возмущение помогли освобождению Горького.

Весной 1902 года Толстой, находясь на лечении в Крыму, был потрясен известием о жестоком подавлении крестьянских волнений на Украине, в Харьковской и Полтавской губерниях. «Страшное правительственное сообщение о беспорядках, – записал он в Дневнике. – Хочется писать об этом». [15] Подробности о происшедших событиях Толстому сообщил В. Г. Короленко, навестивший его в Гаспре 25 мая 1902 года. Выслушав рассказ Короленко о захвате крестьянами помещичьих экономий, скота, сельскохозяйственных орудий, Толстой «сказал уже с видимым полным одобрением: «И молодцы!»...»

«С какой точки зрения вы считаете это правильным, Лев Николаевич?» Толстой ответил: «Мужик берется прямо за то, что для него всего важнее. А вы разве думаете иначе?» [16]

В этом прямом одобрении захвата крестьянами земли и орудий сельскохозяйственного труда Короленко закономерно увидел способность Толстого заражаться настроениями народных масс.

Нет сомнения, что под прямым влиянием «народных настроений» обличающий голос Толстого становился все более суровым и могучим.

В своих произведениях писатель ставил самые насущные, коренные вопросы времени. Посетивший его в 1902 году Горький сообщал в одном из своих писем: «Лев Николаевич... пишет статью по земельному вопросу, а! Экая силища, экое изумительное понимание запросов дня!» [17]

В годы кануна первой русской революции жизнь со всей остротой выдвинула перед Толстым «рабочий вопрос». 21 ноября 1901 года он сообщал в письме Т. Л. Сухотиной: «Нынче известие о побоище рабочих в Ростове». [18] Толстой говорит здесь о жестокой расправе войск царского правительства с рабочими Ростова, проводившими крупную стачку.

В ростовской стачке, а также в стачках, происходивших в других промышленных центрах страны, Толстой видел близость рабочей революции. Еще в трактате «Так что же нам делать?», написанном в середине 80-х годов, и во многих других позднейших статьях Толстой говорил о приближении «развязки» и угрожал правящим классам, не желавшим «переменить свою жизнь», народной расправой.

Толстой видел, что «ненависть и презрение задавленного народа растет, а силы физические и нравственные богатых классов слабеют; обман же, которым держится все, изнашивается, и утешать себя в этой смертной опасности богатые классы не могут уже ничем». Толстой ясно понимал, что «возвратиться к старому нельзя», что «ужасная развязка приближается». [19]

Все его сочинения 80-х, 90-х и особенно 900-х годов проникнуты этим предчувствием близящейся «развязки» и, с другой стороны, стремлением найти выход путем мирного, «полюбовного» разрешения конфликта, избежать «ужасов» неизбежной «рабочей революции».

«Толстой, – писал В. И. Ленин, – с огромной силой и искренностью бичевал господствующие классы, с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество: церковь, суд, милитаризм, «законный» брак, буржуазную науку. Но его учение оказалось в полном противоречии с жизнью, работой и борьбой могильщика современного строя, пролетариата». [20]

В. И. Ленин разъяснил, чьи настроения и чаяния нашли отражение в произведениях Льва Толстого: «Его устами говорила вся та многомиллионная масса русского народа, которая уже ненавидит хозяев современной жизни, но которая еще не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними. [21]

Устами Льва Толстого говорила многомиллионная патриархальная крестьянская Россия. «Великое народное море, взволновавшееся до самых глубин, со всеми своими слабостями и всеми сильными своими сторонами отразилось в учении Толстого», – писал В. И. Ленин. [22]

Став голосом стомиллионного крестьянского народа, Толстой «поразительно рельефно воплотил в своих произведениях – и как художник, и как мыслитель и проповедник – черты исторического

своеобразия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость».
[23]

В свете этих высказываний Ленина о Толстом становятся ясными смысл и значение литературно-художественной, публицистической и общественной деятельности великого русского писателя.

I

Из художественных произведений Толстого, печатающихся в настоящем томе, центральное место занимает драма «Живой труп» (1900). Как и большинство других произведений Толстого, драма была написана на материале современной писателю действительности. В основу ее сюжета легло судебное дело супругов Н. С. и Е. П. Гимер. Материал, взятый из «текущей» жизни, Толстой подверг художественной обработке и создал произведение, направленное не только против буржуазного суда, но и против всей комедии «законного» брака, освящаемого казенной церковью, против изуверских порядков полицейского государства и всего буржуазно-дворянского общества.

Главный герой драмы – Федор Протасов – один из очень близких и дорогих сердцу автора образов. «По поводу «Трупа» Лев Николаевич сказал, что сюжет только тогда хорош, когда он находит в душе отклик и сливается с невысказанными желаниями»; что его очень интересует Федор Протасов, что он «чисто русский тип... отличной души человек».
[24]

Внутренний мир Феде Протасова раскрывается в откровенных беседах, которые он ведет с князем Абрезковым, художником Петушковым и другими действующими лицами. «Что я ни делаю, – признается Федя, – я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне стыдно... А уж быть предводителем, сидеть в банке – так стыдно, так стыдно...»

В этих признаниях Протасова звучит голос самого Толстого, писавшего в «Исповеди», трактате «Так что же нам делать?» и других своих публицистических произведениях, созданных после пережитого им идейного перелома, о чувстве мучительного стыда от сознания паразитизма своего класса, о жгучем желании разорвать узы, связывающие его с этим классом.

«Всем ведь нам в нашем круге, в том, в котором я родился, – говорит Федя, – три выбора, – только три: служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно, может быть, не умел, но, главное, было противно. Второй – разрушать эту пакость; для этого надо быть героем, а я не герой. Или третье: забиться – пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся».

Протасов не нашел в себе сил, чтобы бороться с бессердечием и эгоизмом, ханжеством и консерватизмом людей «высших классов»,

превративших жизнь в «пакость», которую надо всеми силами разрушать. Он бежал от них на «дно». Но и там ему не дали жить спокойно. Вмешался «закон», вмешались шантажисты, полицейские, чиновники, получающие, как говорит Федя, «по двугривенному за пакость».

Протасова сделали «живым трупом», а затем толкнули на самоубийство не только тупые полицейские «законы», но и «корректные», «благовоспитанные» люди, от которых он бежал, как от чумы.

Драма «Живой труп» была опубликована после смерти Толстого. Обличительная сила драмы привела в ярость реакционную критику, увидевшую в «Живом трупе» «ниспровержение основ».

В печати появились также заявления о том, что пьесу нельзя ставить на сцене, ибо она «антитолстовская», противоречащая главным убеждениям «учителя жизни». [25] Толстой – сторонник единобрачия и даже аскетизма. Как же мог он выступить в своей драме против законов, запрещающих расторжение брака?! Толстой организовал «Согласие против пьянства», сочинял «противопьянственные» пьесы и рассказы. Как же мог он оправдать кутежи и все «беспутства» героя пьесы Федора Протасова?! Толстой сурово осудил самоубийство, а Протасова окружил мученическим ореолом и оплакал его гибель!

Должно быть, предвидя недоумение и недовольство своих «критиков», Толстой сказал устами одного из действующих лиц драмы: «Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна?»

Глубокая искренность и правдивость художника–реалиста позволили Толстому в «Живом трупе» изобразить жизнь во всей ее сложности и противоречивости, не укладывающейся в рамки проповеднических доктрин, опрокидывающей принципы и его «вероучения».

Подобно роману «Воскресение», драма «Живой труп» была направлена против такого общественного строя, который основан на деспотизме и полицейском произволе, на обмане и лицемерии. И в этом сила «Живого трупа». Но пьеса имеет и свои слабые стороны. Они нашли выражение прежде всего в образе главного героя драмы. С одной стороны, он показан как горячий протестант и обличитель, смело обнажающий фальшь и лицемерие буржуазно–дворянского общества, его лживую мораль, его бесчеловечные законы. С другой стороны, рисуя образ Протасова, Толстой выступает сторонником пассивного «неучастия в зле», как метода «борьбы» с социальной несправедливостью. Всем своим поведением Федор Протасов как будто заявляет: «Я, как все, скверный, гадкий, но я не могу больше лгать и притворяться, не могу служить в ваших грязных учреждениях, участвовать во всех ваших обманых делах. Мне стыдно и больно, я вижу зло, но не могу с ним бороться, потому что я «не герой».

В «Живом трупе», как и в «Воскресении», Толстой, изображая представителей буржуазно–дворянского общества, срывает с них маски, и они предстают со всей своей фальшью, фарисейством, эгоизмом. Но устами своего «не героя» Толстой проповедует незлобивость, самоустранение от «зла», бегство от жизни. Так самый суровый и

трезвый толстовский реализм соединяется в драме с отвлеченной проповедью «добра», ставящей целью примирение, сглаживание острейших общественных противоречий.

Но в «Живом труп», как и в «Воскресении» и в других произведениях Толстого, проповедь любви и «добра» не подкрепляется жизненно-убедительными примерами, не выдерживает проверки жизнью и вопреки намерениям автора обнаруживает свою полную несостоятельность. Не в проповеди любви и всепрощения сила гениального художника-реалиста. Сила Толстого-художника – в искренней, страстной и беспощадной критике всех современных ему государственных, церковных, общественных устоев.

Герой драмы Федор Протасов со всей определенностью говорит о том, что выход из тупика все-таки один: «разрушать эту пакость» – разрушать собственнический, несправедливый общественный строй, обрекающий людей на невыносимые муки и горе. Рисуя трагическую судьбу Протасова, Толстой объективно звал не к примирению, а к разрушению буржуазно-полицейского государства с его законами, моралью, религией – всей фальшью общественных и семейных отношений.

Пьеса Толстого глубоко волнует подлинным драматизмом, гневным пафосом обличения, могучей силой изображения человеческих характеров и чувств.

Из воспоминаний Н. К. Крупской мы знаем о том впечатлении, которое произвела пьеса Толстого на В. И. Ленина. Было это в 1910-е годы, когда Ленин находился в эмиграции. «Мы редко ходили в театр, – рассказывает Н. К. Крупская. – Пойдем, бывало, но ничтожность пьесы или фальшь игры всегда резко били по нервам Владимира Ильича. Обычно, пойдем в театр и после первого действия уходим. Над нами смеялись товарищи, – зря деньги переводим. Но раз Ильич досидел до конца; это было, кажется, в конце 1915 г., в Берне, ставили пьесу Л. Толстого «Живой труп». Хоть шла она по-немецки, но актер, игравший князя, был русский, он сумел передать замысел Л. Толстого. Ильич напряженно и взволнованно следил за игрой». [26]

«Живой труп» – пьеса новаторская. В ней Толстой-драматург отказался от традиционного строгого деления на акты. Пьеса написана картинками с расчетом на частую и быструю смену места действия для того, чтобы нагляднее показать «текучесть жизни». Будучи произведением «позднего» Толстого, драма «Живой труп» служит свидетельством неувядавшей силы громадного таланта писателя и его неутомимых поисков нового в искусстве.

По силе обличения и художественному мастерству близок к «Живому трупу» и замечательный рассказ Толстого «После бала». Писатель рисует в нем страшную картину экзекуции: сквозь строй под тупые удары барабана прогоняют солдата-татарина.

Драма «Живой труп» и рассказ «После бала» тематически связаны со статьей «Стыдно» (1895) и со всей публицистикой Толстого 80-х, 90-х и 900-х годов, главное содержание которой составляет беспощадное обличение господствующих классов царской России.

В начале 900-х годов Толстой продолжает разрабатывать и жанр нравственно-поучительной, «назидательной» литературы. Произведениями этого жанра он старается широко пропагандировать свое учение.

Одним из ярких образцов «назидательных» произведений Толстого является легенда «Разрушение ада и восстановление его».

В этом небольшом по размеру произведении Толстой высказал свое отношение к церковной религии, к «христианскому» браку и воспитанию, к самодержавию, к буржуазной науке и культуре. Стремясь доказать, что люди извратили «истинное учение Христа», Толстой устами дьяволов, «заведующих» блудом, грабежом, убийствами, наукой, техническими усовершенствованиями, разделением труда и т. д., дает глубокую и резкую критику «порядков» современного капиталистического общества. Критика казенной церкви, монархии, буржуазно-парламентских правительств, уродств буржуазной цивилизации и многих других сторон эксплуататорского общества достигает в легенде такой разящей силы, что она была отнесена царской цензурой к числу самых «кошунственных» произведений Толстого.

Но в легенде, как и в других «назидательных» произведениях Толстого, с полной очевидностью обнаруживаются и слабые, реакционные стороны его мировоззрения. Резко и справедливо обличая «хозяев жизни» и их помощников, как поработителей народа, Толстой в то же время зачеркивает завоевания науки и техники, выступает против материализма и социализма, называет бесплодными занятия ученых, ведущих «исследования явлений материального мира», изучающих общественную жизнь.

Заканчивается легенда мрачной картиной торжества Вельзевула, торжества дьяволов, сбивших людей с «истинного» пути. Толстой не видит иного исхода, кроме нового разрушения восстановленного дьяволами ада. Но какими же путями могут освободиться люди из-под «дьявольской» власти? Ответить на это Толстой пытается в сказке «Три вопроса», где в самой краткой форме он выражает свое определение основных этических норм поведения человека. «Как знать, какие люди самые нужные, и как не ошибаться в том, какое дело из всех дел самое важное?»

В ответах на эти вопросы выражен ряд коренных положений толстовского учения с его реакционным отрицанием общественной борьбы, с его признанием, что «все материальное – ничто», что человеку надо заботиться только о спасении своей души, что ему незачем думать о завтрашнем дне, что он должен делать только «добро» и потому не противиться злу насилием.

Тот же смысл вложен Толстым и в легенду «Труд, смерть и болезнь», являющуюся своеобразным продолжением или дополнением легенды о разрушении и восстановлении ада. Чтобы вернуть людей на истинный путь, – пишет Толстой, – бог решил заставить их трудиться, надеясь, что «труд соединит их». Но вышло так, что разъединение людей еще более углубилось, ибо люди «тратили время и силы на борьбу, и всем было дурно».

Но вот, – говорит Толстой, – «в самое последнее время» появились люди, которые стали понимать, что труд, который служит пугалом для одних и принудительной каторгой для других, «должен быть общим радостным делом, соединяющим людей». Они стали понимать, что «единственно разумное дело всякого человека» состоит в том, чтобы прожить свою жизнь в согласии и любовном общении с другими людьми.

Так прославление труда сопровождается в легенде проповедью толстовских религиозно–нравственных «истин».

Назидательным целям посвящены и рассказы Толстого «Ассирийский царь Асархадон», «Это ты», рисующие превращение жестоких тиранов в людей, понявших «истинный» смысл жизни. Под влиянием мудрецов они постигают все зло своей жестокой деятельностью, отказываются от власти и богатства, становятся проповедниками всепрощения, незлобивости, любви к врагам.

Не забудем, что эти рассказы и легенды создавались писателем в канун революционной грозы. Они и тесно связанные с ними публицистические произведения возникли как прямые отклики Толстого на все обострявшуюся классовую борьбу в стране. Тиранов и деспотов он призывал образумиться, отказаться от власти и богатства, от угнетения народа и заняться спасением своей души. Порабощенный народ, стонущий под ярмом эксплуатации, он призывал не озлобляться, а прощать врагам своим, не заботиться об изменении «внешних», материальных условий жизни, а отдаваться радостно своему труду, думать лишь о спасении души.

Эта проповедь Толстым всепрощения и непровлечения злу насилем в годы приближения первой русской революции приносила большой и глубокий вред; она была широко использована буржуазными партиями и группами в борьбе против революции. Они объявили Толстого «всеобщей совестью», «учителем жизни». Отвечая им, В. И. Ленин писал в 1910 году: «Это – ложь, которую сознательно распространяют либералы, желающие использовать противореволюционную сторону учения Толстого. Эту ложь о Толстом, как «учителе жизни», повторяют за либералами и некоторые бывшие социал–демократы.

Только тогда добьется русский народ освобождения, когда поймет, что не у Толстого надо ему учиться добиваться лучшей жизни, а у того класса, значения которого не понимал Толстой и который единственно способен разрушить ненавистный Толстому старый мир, – у пролетариата». [27]

В 1901 году Толстой написал предисловие к роману немецкого писателя В. фон–Поленца «Крестьянин». К анализу и оценке этого произведения он подошел с тех эстетических позиций, которые изложил в своем знаменитом трактате «Что такое искусство?», опубликованном в 1897–1898 годах. Толстой признал роман «Крестьянин» подлинным и высоким произведением искусства за то, что роман правдив, и за то, что он художественен. Как особое достоинство произведения Поленца Толстой

подчеркивает, что «вся книга написана прекрасным, благородным, т. е. простым немецким языком, особенно сильным, когда вводится грубый, мужественный рабочий язык». [28]

В предисловии к роману Поленца, как и во всех других своих эстетических статьях, написанных в 90-е и 900-е годы, Толстой резко обрушился на упадочное буржуазно-декадентское искусство и литературу, а также на натурализм. «Положение литературы и вообще искусства в наше время очень опасное», – говорит Толстой. В извращении эстетических вкусов самую вредную роль играет буржуазная пресса. «Газеты же находятся в руках денежных дельцов, – справедливо указывает Толстой. – Газета, журнал есть большое денежное предприятие». [29] Монополизированные кучкой богачей газеты и журналы «выдвигают и восхваляют всегда самые грубые художественные произведения, отличающиеся только необычностью, фальшивым пафосом и тем, что они чудны, выставляя их как нечто самое утонченное и, главное, последнее по моде». [30]

В предисловии к роману Поленца отразились не только сильные, но и слабые стороны эстетических взглядов Толстого. Резко и справедливо критикуя буржуазно-декадентские и натуралистические «произведения», выступая за реалистическое, правдивое искусство, близкое народу, Толстой в основу своего понимания народности искусства положил патриархально-крестьянские, религиозные идеалы.

В романе «Крестьянин» Толстого привлекают показанные Поленцом «и прелесть земледельческой жизни, и жалость к ее гибели, и любовь к природе и к семье, и жалость к невежеству, к грубости». [31] Особые симпатии вызывают у Толстого те сцены, в которых изображены согласные с его учением незлобивость и кротость.

II

Быстрое назревание революционного кризиса в стране, резкое обострение классовых противоречий между трудящимися и их угнетателями, неминуемое приближение «развязки» – вот что определило содержание и направление публицистики Толстого начала 900-х годов. Во всей остроте встал перед Толстым в эти годы «рабочий вопрос». Писатель стремится лично познакомиться с условиями работы и жизни рабочих на фабриках и заводах, на железных дорогах. Плодом этого изучения и явилась статья Толстого «Рабство нашего времени» (1900) и целый ряд его других статей и выступлений.

Во введении к статье «Рабство нашего времени» Толстой не случайно напоминает о своем трактате «Так что же нам делать?», написанном пятнадцать лет назад. Он указывает, что в этих сочинениях поставлены в сущности одни и те же вопросы и даны на них одинаковые ответы, хотя автор и стремился привести «новые доводы», вытекающие из перемен, происшедших в жизни.

Толстой сам указывает на главную мысль, лежащую в основе книги «Так что же нам делать?» и статьи «Рабство нашего времени»: «Основная мысль, как той книги, так и этой статьи – отрицание насилия». Толстой указывает источник, откуда он позаимствовал эту мысль: «Это отрицание я понял и узнал из евангелия».

Но и в трактате «Так что же нам делать?» и в статье «Рабство нашего времени» Толстому пришлось выйти далеко за пределы религиозно-нравственной темы.

В первой главе статьи «Рабство нашего времени» привлекает внимание яркое описание встречи писателя с грузчиками, работающими по тридцать семь часов подряд. Толстой лично познакомился с условиями работы грузчиков на товарной станции Московско-Казанской железной дороги. Видел он и условия труда рабочих-каменщиков на Тульском чугунолитейном заводе. Из своих наблюдений Толстой сделал вывод, что капиталистическая эксплуатация трудящихся по своей жестокости превосходит рабский и крепостнический гнет. Капиталистическую эксплуатацию трудящихся он и назвал «рабством нашего времени».

Вторая глава статьи посвящена критике «равнодушия общества перед гибелью людей». В третьей, четвертой и пятой главах Толстой критикует буржуазную экономическую науку за «оправдание существующего положения» и выясняет, «почему ученые экономисты говорят неправду». Толстой отчетливо показывает, что буржуазная наука состоит на службе у господствующих классов, что главной своей задачей она считает оправдание существующего рабства.

Но критикуя «ученых экономистов», Толстой не смог встать на конкретно-историческую почву, а к характеристике и оценке выводов политэкономии подошел с точки зрения отвлеченных «вечных истин».

О слабости и ошибочности этих позиций писал В. И. Ленин, обратив внимание на то, что еще в рассказе «Люцерн» (1857) Толстой критиковал буржуазную «цивилизацию», обращаясь с апелляциями к «Всемирному Духу». «В «Рабстве нашего времени» (писано в 1900 году), – указывал В. И. Ленин, – Толстой, повторяя еще усерднее эти апелляции к Всемирному Духу, объявляет «мнимой наукой» политическую экономию за то, что она берет за «образец» «маленькую, находящуюся в самом исключительном положении, Англию», – вместо того, чтобы брать за образец «положение людей всего мира за все историческое время». [32]

В. И. Ленин разъясняет далее, что «весь мир» для Толстого – это «весь так называемый Восток» с его вековой «неподвижностью» и отсталостью, и заключает: «Вот именно идеологией восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реальном историческом содержании. Отсюда и аскетизм, и непротивление злу насилием, и глубокие нотки пессимизма, и убеждение, что «все – ничто, все – материальное ничто» («О смысле жизни», стр. 52), и вера в «Дух», «начало всего», по отношению к каковому началу человек есть лишь «работник», «приставленный к делу спасения своей души», и т. д.» [33]

Все эти отмеченные В. И. Лениным слабые, реакционные черты мировоззрения Толстого в полной мере проявились и в статье «Рабство нашего времени» и в других произведениях писателя, посвященных характеристике и оценке острейших вопросов своего времени.

Главу шестую «Рабства нашего времени» Толстой назвал: «Несостоятельность социалистического идеала». Он подверг критике теорию социалистов–утопистов, состоящую, по его словам, в том, что рабочие, «все соединяясь в союзы, товарищества, воспитывая в себе солидарность, дойдут, наконец, посредством союзов, стачек и участия в парламентах до того, что овладеют всеми, включая и землю, орудиями производства». Толстой заявляет, что в осуществление этой теории поверить так же трудно, как и в рай для рабочих на том свете, обещанный теологами, ибо господствующие классы никогда добровольно не согласятся поступиться своими выгодами в пользу рабочих.

Отвергнув теории утопических социалистов, Толстой не приходит, однако, к выводу о необходимости революционной борьбы и выдвигает свои «рецепты» избавления рабочего народа от капиталистического рабства. Он предлагает два ответа на вопрос: «Что должен делать каждый человек?» Сильные духом люди, – говорит Толстой, – должны отказаться от всякого участия в «организованном насилии»: не платить податей, не служить в войсках, не выполнять никаких «узаконений» правительства. Для людей послабее Толстой предъявляет единственное требование: всемерно уменьшать свои потребности. Он обращает это требование и к хозяевам, и к рабочим, ибо и тех и других считает одинаково виноватыми в существовании «нового рабства». Рабочих Толстой обвиняет в том, что они... нанимаются на фабрики и заводы, вместо того чтобы оставаться в деревне и заниматься земледельческим трудом.

Значение статьи «Рабство нашего времени», как и других публицистических произведений Толстого, состоит, однако, не в этих утопических «рецептах спасения человечества», а в беспощадном обличении капиталистического общества, обличении, которое и доньше не утратило своей остроты и силы.

Толстой близок и дорог нам тем, что в своих произведениях он обнажил все язвы и уродства буржуазной цивилизации, выразил горячее сочувствие поработанному капитализмом трудовому народу.

В «Рабстве нашего времени» и других статьях по «рабочему вопросу» Толстой резко обрушился на идеологов буржуазии, утверждавших «извечную незыблемость» капиталистического общественного строя. Существующий порядок вещей, – заявил он о буржуазном строе, – не есть нечто неизбежное, стихийное, неизменное. Капиталистическое рабство, – утверждает Толстой, – «рабство нашего времени очень ясно и определенно произведено не каким–либо железным стихийным законом, а человеческими узаконениями: о земле, о податях и о собственности». [34]

Характеризуя эпоху рождения капитализма, Толстой ссылается на «Капитал» Карла Маркса: «Сельское население сначала насильственно обезземеливали, говорит К. Маркс, изгоняли и доводили до

бродяжничества, а затем, в силу жестоких законов, его пытали, клеймили каленым железом, наказывали плетьюми, с целью подчинить требованиям наемного труда». [35] В одной из подготовительных редакций статьи «Рабство нашего времени» Толстой приводит большую цитату из «Капитала» К. Маркса, в которой речь идет о способах первоначального капиталистического накопления. [36]

Нужно подчеркнуть, что среди большого числа книг по вопросам политической экономии, которые были изучены Толстым в связи с его работой над статьей «Рабство нашего времени», именно у Маркса он нашел неопровержимые доказательства, разоблачающие миф об «извечности» капитализма.

Толстой беспощадно критикует буржуазных экономистов, особенно либералов, болтающих об улучшении положения рабочих на существующих фабриках и заводах при существующем эксплуататорском строе. [37]

Толстой подчеркивает, что в условиях капитализма никакие «заботы» либералов о народе не приводят и не могут привести к улучшению положения трудящихся. В полных боли и гнева словах рисует писатель бедственное положение народа в капиталистическом обществе. «...В России, – заявляет он, – отбирается от народа треть всего дохода, а на самую главную нужду, на народное образование, употребляется 1/50 часть всего дохода, и то на такое образование, которое больше вредит народу, одуряя его, чем приносит ему пользу. Остальные же 49/50 употребляются на ненужные и вредные для народа дела». И Толстой называет эти «дела»: безудержное вооружение, крепости и тюрьмы, содержание духовенства, царского двора, огромной своры чиновников, «которые поддерживают возможность отбирать эти деньги у народа». [38]

Ограбление народа, – говорит Толстой, – происходит не только в деспотических, монархических государствах, а и в любом конституционном государстве, в любой буржуазно-демократической республике. Во всех государствах капиталистического мира «деньги отбираются у большинства народа не столько, сколько нужно, а столько, сколько можно, и совершенно независимо от согласия или несогласия облагаемых (все знают, как составляются парламенты и как мало они представляют волю народа) и употребляются не для общей пользы, а на то, что для себя считают нужным правящие классы: на войну в Кубе и Филиппинах, на отнятие и удержание богатств Трансвааля и т. п.» [39]

Толстой называет кичливую английскую и американскую демократию «мнимо-свободной» и говорит, что английская и американская конституции имеют целью такой же обман народа, как и японская и турецкая конституции, ибо «все знают, что не только в деспотических, но и в самых мнимо-свободных государствах: Англии, Америке, Франции и других, узаконения устанавливаются не по воле всех, а только по воле тех, которые имеют власть», и выгодны эти узаконения только «тем, кто имеет власть...» [40]

Толстой возмущается бесчеловечным характером капиталистической организации труда, когда рабочий превращен в механический придаток машины, выжимающей из него все силы, все соки.

Главной особенностью этого нового рабства Толстой считает его «безличный» характер: новые рабы не принадлежат лично тому или иному господину, фабриканту. Но от этого их положение не стало лучше в сравнении с положением крепостных рабов. Наоборот, говорит Толстой, «безличное рабство... в 1000 раз хуже самого жестокого личного» по той простой причине, что, например, владельцу «крещеной собственности», помещику, было невыгодно замучить на работе своего крепостного: он «берег» его, как берег лошадей и другой рабочий скот. А фабриканту незачем беречь своих безличных рабов, ибо место каждого из них, свалившегося от непосильной работы, тотчас готовы занять десятки и сотни других, погибающих на улицах городов от безработицы.

Главную причину этого зла, или, как говорит Толстой, «корень зла», он видит в том, что у трудового земледельческого народа отнята земля. От лица миллионов разоренных «законами» и «реформами» крестьян Толстой обращается к правящим классам с такими словами:

«Вы говорите, что вы для нашего блага ограждаете земельную собственность, но ваше ограждение делает то, что вся земля или перешла, или переходит во власть неработающих компаний, банкиров, богачей; а мы, огромное большинство народа, обезземелены и находимся во власти неработающих. Вы со своими законами о земельной собственности не ограждаете земельную собственность, а отнимаете ее у тех, кто работает». [41]

Ссылаясь на «общественное мнение народа» в городах и в деревнях, которое «за последние пять–шесть лет поразительно изменилось», Толстой заявляет: «Весь русский народ на моей памяти не признавал земельной собственности». [42]

В статьях 900-х годов Толстой рассматривает «фабричное рабство» как порождение и следствие «земельного рабства». Исходя из этого убеждения, он и предлагает решить рабочий вопрос путем «освобождения земли».

При «кричащих противоречиях» в своем мировоззрении Толстой, – как указывал В. И. Ленин, – «не мог абсолютно понять ни рабочего движения и его роли в борьбе за социализм, ни русской революции». [43]

В 80-е годы Толстой с тревогой писал о «раскрестьянивании» пореформенной деревни, о пролетаризации крестьянских масс. Дав еще в «Анне Карениной», написанной во второй половине 70-х годов, гениальную характеристику пореформенной эпохи («все перевернулось и только укладывается»), Толстой не хотел признать, что Россия вступила на путь капиталистического развития. «Подобно народникам, он не хочет видеть, он закрывает глаза, отвертывается от мысли о том, что «укладывается» в России никакой иной, как буржуазный строй», – говорил о Толстом В. И. Ленин. [44]

Участвуя в 1882 году в переписи московского населения, лицом к лицу столкнувшись с ужасами городской нищеты, вызванной развитием

капитализма, Толстой писал: «Забудемте про то, что в больших городах и в Лондоне есть пролетариат, и не будем говорить, что это так надо. Этого не надо и не должно, потому что это противно и нашему разуму и сердцу...» [45]

В публицистике 80–х, 90–х и 900–х годов Толстой настойчиво развивает эту же мысль. Путь к решению всех общественных противоречий, порожденных развитием капитализма, к уничтожению социального неравенства, к избавлению народа от всех форм эксплуатации Толстой видел в «освобождении земли» от частной собственности. В пору стремительного развития капитализма в России и быстрого роста пролетариата, объединявшегося для борьбы с самодержавием и буржуазией, Толстой заявлял в статье «Великий грех», что «русский народ не опролетариться должен, подражая народам Европы и Америки, а, напротив, разрешит у себя земельный вопрос упразднением земельной собственности и укажет другим народам путь разумной, свободной и счастливой жизни вне промышленного, фабричного капиталистического насилия и рабства... в этом его великое историческое призвание». [46]

Произведения Толстого 900–х годов являются ярким подтверждением мысли Ленина, что «горячий протестант, страстный обличитель, великий критик обнаружил вместе с тем в своих произведениях такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину...» [47]

Статья «Где выход?» по своему содержанию тесно примыкает к «Рабству нашего времени». В ней писатель ставит те же вопросы – о земельном рабстве, о фабричном рабстве, о способах освобождения трудового народа. Толстой утверждает, что земельное рабство будет существовать до тех пор, пока земля находится в собственности у «неработающих землевладельцев». Рабство фабричных рабочих будет до тех пор, пока средства и орудия производства находятся в руках капиталистов. И никакие частичные улучшения условий труда не избавят трудящихся от рабства в капиталистическом обществе.

Где же выход? Толстой указывает на проект буржуазного американского экономиста Генри Джорджа, называя его разумным и вполне исполнимым. Но он тут же признает, что за 30 лет агитации за проект Г. Джорджа его сторонники ни в Америке, ни в Англии не добились никаких практических результатов. «Если же в Америке и Англии проект этот не приняли и не принимают, то еще меньше надежды, чтобы проект этот был принят в государствах монархических, как в Германии, Австрии, России». [48]

Из всех «мирных» путей освобождения народа от земельного и капиталистического рабства Толстому долгое время представлялся разумным и осуществимым путь, предлагавшийся Генри Джорджем.

Еще в конце 90–х годов, в частности в романе «Воскресение», Толстой заявлял себя сторонником теории Генри Джорджа, предложившего ввести «единый налог» на землю. Жизнь князя Нехлюдова, одного из главных героев «Воскресения», Толстой намерен был посвятить осуществлению проекта «единого налога» на землю.

В статье «Рабство нашего времени» Толстой выступил открытым противником программы Генри Джорджа, этого «буржуазного национализатора земли», как его назвал В. И. Ленин. Земельная обязательная рента, предлагаемая Генри Джорджем и его сторонниками, – справедливо указывает Толстой, – «неизбежно установит новую форму рабства, потому что человек, вынуждаемый к уплате ренты или единого налога, при всяком неурожае, несчастью должен будет занять деньги у того, у кого они есть, и попадет опять в рабство». [49]

Проект Г. Джорджа и другие, подобные ему проекты Толстой называет паллиативами, заплатами на раздираемый противоречиями буржуазный строй, подлежащий замене новым общественным строем.

За два года до написания статьи «Рабство нашего времени» Толстой сделал в Дневнике знаменательную запись: «Сила в рабочем народе. Если он несет свое угнетение, то только потому, что он загипнотизирован. Вот в этом–то все дело – уничтожить этот гипноз». [50]

Задаче уничтожения самых различных форм «гипноза» и были посвящены многие публицистические произведения Толстого 90-х и 900-х годов. В ряде статей Толстой обрушивался на буржуазные правительства за проповедь шовинизма, за раздувание национальной розни. Он решительно разоблачал старания буржуазных правительств болтовней о мире прикрыть бешеную подготовку к новым войнам. Толстой указывал в качестве примера на Гаагскую мирную конференцию, участники которой притворялись, что они очень озабочены установлением мира между народами.

Как известно, Гаагская конференция закончилась страшным кровопролитием – войной в Трансваале, хищным нападением Англии на маленький народ – буров, мужественно отстаивавший свою независимость. Война в Трансваале разоблачила лживость «мирных стремлений» буржуазных правительств.

Толстой характеризует буржуазное правительство, буржуазное государство как орудие «организованного насилия», осуществляемого правящим меньшинством над угнетенным громадным большинством народа.

Выступая против империалистической агрессии европейских буржуазных государств, Толстой неизменно выражал свое горячее сочувствие народам колониальных и зависимых стран. С этой стороны значительный интерес представляет впервые публикуемое в настоящем томе «Обращение к китайскому народу». В нем разоблачается агрессия, направленная против миролюбивого китайского народа.

Однако Толстой не ограничивается в своем воззвании обличением империалистических хищников, прикрывающих грабительские цели лживыми разговорами о своей «христианской миссии» в странах Востока. Разоблачая империалистов, Толстой одновременно выступает проповедником «истинного» христианства. В своем обращении к китайскому народу, вопреки историческим фактам, он утверждает, что в феодальном Китае существовала «истинная» свобода. Известно, что в

своих последующих статьях, письмах, высказываниях, посвященных Китаю, Толстой всячески предостерегал китайцев от перенесения в их страну буржуазно–европейских порядков и от подражания империалистической Японии. В то же время Толстой ратовал за сохранение «восточной неподвижности», за сохранение «прежних порядков».

Статья «Не убий», явившаяся откликом Толстого на убийство анархистами итальянского короля Гумберта, имеет целью также разоблачение «гипноза», при помощи которого правящие классы держат народ в подчинении. Короли и императоры, – говорит Толстой, – повинны в убийствах сотен тысяч и миллионов людей. Так что «едва ли придется один убитый король или император на сто тысяч, а может быть, и миллион убитых и убиваемых по распоряжениям и с согласия королей и императоров». [51] Поэтому короли и императоры не возмущаться должны убийством Александра II, Гумберта и т. д., а удивляться, что еще «так редки такие убийства».

Но Толстой не оправдывает и не одобряет террористические акты, совершаемые анархистами над королями, императорами и другими правителями. Как только убили одного короля, на его место тотчас же «выскакивает» другой король. «Так зачем же убивать их?» – спрашивает Толстой.

Отвергая террор, он, однако, отрицает и активную, революционную борьбу народа против существующего «устройства общества» и советует не казнить властителей, а «разъяснить им то, что они сами убийцы, и, главное, не позволять им убивать людей, отказываться убивать по их приказанию». [52]

Дав яркую характеристику «злодейств» Вильгельма, Николая II и других коронованных убийц и палачей народов, Толстой все дело свел к пассивному неучастию в их грязных, кровавых делах и к задаче «разъяснения» властителям «зла», которое они причиняют людям.

Побуждаемый именно этим стремлением разъяснить и обличить зло существующего правления, пишет Толстой в 1901 году обращение «Царю и его помощникам».

Нужно, однако, отметить, что в своих обращениях к русским царям Толстой от личных «увещаний», какими отличается, например, его письмо к Александру III с просьбой помиловать народовольцев, каздивших 1 марта 1881 года Александра II, переходит в 900–е годы к требованиям, которые он заявляет не от себя лично, а от многомиллионного трудового народа.

Одновременно с обращением Толстой составляет «программу», озаглавив ее красноречивыми словами: «Желания народа», а впоследствии «Чего прежде всего желает большинство людей русского народа». Желания и требования народа, сформулированные Толстым в этой статье, были включены им в текст обращения.

Толстой говорит в обращении к царю о жестокой борьбе, разделившей русский народ на два враждебных лагеря. Он указывает, что, несмотря

на репрессии, которыми царское правительство пытается задушить общественное движение в стране, «недовольство существующим строем жизни не только растет, но все расширяется и захватило теперь уже миллионы людей рабочего народа, огромное большинство всего народа». Толстой советует царю не верить министру внутренних дел, заявившему в своем циркуляре, что «если полиция будет во-время разгонять толпу и во-время стрелять в нее, то все будет тихо и спокойно». Таким путем уже нельзя справиться с «волнениями, принимающими все более и более широкие и глубокие размеры». [53]

Толстой открыто заявляет, что в создавшемся общественном возбуждении и недовольстве виноваты не «беспокойные» люди, преследуемые полицией, а правительство, не желающее увидеть ничего, кроме своего спокойствия, и отрешиться «от несвойственных условиям жизни деспотических форм правления». [54]

В своем обращении Толстой излагает четыре пункта программы, включающей в себя, по его словам, «самые скромные и легко исполнимые желания... огромного большинства русского общества».

Первое требование – уравнивание крестьянства во всех правах с другими сословиями. Крестьянство, – заявляет Толстой, – «находится в положении раба, связанного особыми, исключительными законами». [55] Толстой требует освободить крестьян: от выкупных платежей за землю («давно уже покрывших стоимость выкупаемых земель»), от позорного телесного наказания, от власти земских начальников, от бесчисленных податей и повинностей, от всяких других притеснений.

Второе требование – это отмена «правил усиленной охраны», вызывающих грубое насилие, «употребляемое часто против рабочих, входящих в столкновения с хозяевами и землевладельцами», и отмена смертной казни.

Третье требование – уничтожение всех преград к образованию, воспитанию и преподаванию. Толстой здесь решительно выступает против классовых, сословных и национальных привилегий в деле образования, ратует за обучение на родном языке, за разрешение частных школ, протестует против всевозможных преград для образования народа.

Четвертый пункт программы Толстого выражает с его точки зрения «самое важное» требование – «уничтожить все стеснения религиозной свободы».

Только тогда успокоится общество, – заявляет Толстой царю и его помощникам, – когда будет «хорошо самому сильному, трудящемуся большинству, на котором держится все общество». [56]

Не трудно увидеть, что эта «программа» выражала настроения и желания, сложившиеся у многомиллионного крестьянства накануне буржуазно-демократической революции в России.

Однако к революционным методам борьбы народа за осуществление этих требований Толстой относился отрицательно. Он осуждал революционное свержение буржуазного общественного строя, уподобив революцию

«тушению огня огнем».

По мнению Толстого, путь революционной борьбы не приведет трудящихся к освобождению от рабства. При этом он ссылается на исторический опыт, указывает на потерпевшие поражение революции в Англии, Франции и Германии в XVII, XVIII веках и первой половине XIX века. «С тех пор, – говорит он, – была только одна революция в 1871 году, и та в исключительных условиях. В наше же время революции и свержение правительств прямо невозможны». [57]

Толстому казалось, что правительства в буржуазно–помещичьих государствах настолько укрепились в связи с завоеваниями науки и техники, особенно в военной области, что их революционное свержение неосуществимо. «Пока в руках правительства, живущего податями и связанного с собственниками земли и капиталов, солдаты, – революция невозможна... круг замкнут, и выхода как будто нет никакого», [58] – заявляет Толстой.

Однако он все же пытается указать «выход». Ему представляется, что только одно «несомненно уничтожает всю столь сложно и искусно и так давно устроенную правительственную машину порабощения народа»: пассивный отказ от участия в ней. В предисловии к составленным им солдатской и офицерской памяткам Толстой выражает надежду, что эти его обращения к военному сословию «уменьшат братоубийственную бойню». Он пытается в своих памятках убедить солдат и офицеров отказаться от военной службы и удержать их от кровопролития в предстоящей революции, удержать солдат от убийства своих братьев, рабочих и крестьян.

Но Толстой был далек от мысли о том, чтобы повернуть солдатские штыки против палачей и грабителей народа, чтобы призвать армию на защиту прав народа, на помощь народу в его революционной освободительной борьбе.

Например, его статья «Неужели это так надо?» заканчивается выражением уверенности в том, что буржуазный строй, основанный на жесточайшей эксплуатации трудящихся, не может и не будет существовать вечно. И здесь же Толстой призывает отказаться от участия в революции, от борьбы за социализм и предлагает направить все силы на изобличение ложного христианского учения и на проповедь «очищенного», «истинного» христианства.

Накануне революционной грозы писатель хорошо сознает, что «из... тяжелого и угрожающего положения... есть только два выхода: первый, хотя и очень трудный – кровавая революция, второй – признание правительствами их обязанности не идти против закона прогресса, не отстаивать старого или, как у нас, возвращаться к древнему – поняв направление пути, по которому движется человечество, вести по нем свои народы». [59]

Писатель говорит, что именно этот второй путь он пытался указать в двух письмах к Николаю II, но первый, революционный, путь Толстой безусловно отрицает.

Слабые, реакционные стороны взглядов Толстого определили его «жалость» и к палачам и жертвам, и капиталистам и эксплуатируемым рабочим. В незаконченной статье «Корень зла», например, Толстой пишет, что ему жалко не только бедных, но и богатых, не только угнетенных, но и угнетателей, потому что, по его мнению, богатые, «хотя они и думают, что получили уже свою награду, они страдают так же, как и бедные». Правда, тут же Толстой оговаривается: «Но больше всего жалко мне бедных». [60]

Все, что писатель мог предложить народу в качестве выхода из капиталистического рабства, – это пассивное неучастие в «правительственных деятельности»: отказ от военной службы и службы в любых учреждениях, уменьшение своих потребностей, надежда на то, что правящие классы «одумаются» и сами откажутся от владения землей и другой собственностью.

В этих «рецептах» обнаружилась с полной очевидностью вся несостоятельность толстовской проповеди пассивизма, непротivления злу насилieм и личного самоусовершенствования.

В статьях, публикуемых в настоящем томе, со всей остротой проявились кричащие противоречия взглядов Толстого.

Статьи Толстого «Рабство нашего времени», «Единственное средство», «Где выход?» и другие показывают, как «борьба с крепостническим и полицейским государством, с монархией превращалась у него в отрицание политики, приводила к учению о «непротivлении злу», привела к полному отстранению от революционной борьбы масс 1905–1907 гг.» [61]

Статьи Толстого «О веротерпимости», «К духовенству» и другие еще раз убеждают в том, что его «борьба с казенной церковью совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, то есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных масс». [62]

«Рабство нашего времени», «Где выход?», «Корень зла», «Неужели это так надо?» и другие работы Толстого о земельном вопросе свидетельствуют, что его «отрицание частной поземельной собственности вело не к сосредоточению всей борьбы на действительном враге, на помещичьем землевладении и его политическом орудии власти, т. е. монархии, а к мечтательным, расплывчатым, бессильным воздыханиям». [63] Они показывают, что у Толстого «обличение капитализма и бедствий, причиняемых им массам, совмещалось с совершенно апатичным отношением к той всемирной освободительной борьбе, которую ведет международный социалистический пролетариат». [64]

Всею душой сочувствуя трудовому народу, со всей страстью разоблачая его угнетателей, Толстой в то же время был далек от понимания истинных задач и целей революционной борьбы народа. Его обращения к народу, его призывы к трудящимся массам отказаться от участия в революции, вооруженной борьбе – играли вреднейшую, реакционнейшую роль. Вот почему в самый разгар первой русской революции В. И. Ленин горячо поддерживал выступления Горького против «толстовщины» и

«достоевщины». Вот почему В. И. Ленин говорил, что «Толстому ни «пассивизма», ни анархизма, ни народничества, ни религии спускать нельзя». [65]

Произведения, публикуемые в 34-м томе, показывают, насколько велик был Толстой в постановке острейших вопросов своей эпохи, в стремлении «дойти до корня», обнаружить истинную причину бедствий, испытываемых трудовым народом в капиталистическом обществе. В то же время очевидно, что Толстой не смог понять ни причин кризиса, ни общественной силы, способной избавить трудовой народ от рабства старого и нового времени. И в этом заключалась слабость взглядов Толстого.

В. И. Ленин учит различать в наследии Толстого разум писателя и его предрассудки. В. И. Ленин учит правильному пониманию исторических причин и сущности противоречий Толстого, учит понимать, чьи надежды, настроения и чаяния выразились в произведениях великого писателя.

Критикуя и отвергая все то, что в наследии Толстого составляет «исторический грех толстовщины» (Ленин), мы высоко ценим и любим писателя Толстого, могучего обличителя, великого критика капитализма, бесстрашного обвинителя самодержавия, борца против всякого гнета, всякой эксплуатации человека человеком, гениального художника, рядом с которым, – по определению В. И. Ленина, – «в Европе поставить некого». [66]

К. Ломунов

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОМУ ТОМУ.

Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии, но с сохранением особенностей правописания Толстого.

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется.

Пунктуация автора воспроизводится в точности, за исключением тех случаев, когда она противоречит общепринятым нормам.

Слова, случайно не написанные, если отсутствие их затрудняет понимание текста, печатаются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание.

Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные ошибочно дважды, воспроизводятся один раз, что всякий раз оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках.

На месте неразобранных слов ставится: [1, 2, 3 и т. д. неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что имеет существенное значение.

Более или менее значительные по размерам зачеркнутые места (в отдельных случаях и слова) воспроизводятся в тексте в ломаных < > скобках.

Авторские скобки обозначены круглыми скобками.

Многоточия воспроизводятся так, как они даны автором.

Абзацы редактора даются с оговоркой в сноске: Абзац редактора.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом) без скобок. Редакторские переводы иностранных слов и выражений печатаются в прямых скобках.

Обозначение * как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означает, что печатается впервые; ** – что напечатано было впервые после смерти Толстого.

Иллюстрации

Фототипия: Л. Н. Толстой в 1900 г. Фотографический снимок. Между IV и V стр.

Примечания

1

[еще.]

2

[моя милая,]

3

В подлиннике: воображающую,

4

Зачеркнуто: гражданских деятелей, борцов за принципы и всякую штуку. А кто учился для того, что интересовался наукой, так и разумел себя, и те, что учились

5

Зач.: и не совестно было

6

Зачеркнуто: страшно. Но если вы думаете, что после того, что я видел, я решил, что полковник дурной человек, или что не надо делать того, что он делал, то вы ошибаетесь, напротив, я винил себя за то, что я слаб, и надеялся, что я сумею выработать себе такую твердость, как у полковника.

7

Одно из первоначальных заглавий «После бала».

8

История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс, М. 1950, стр. 28.

9

В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 33.

10

Т. 72, стр. 408.

11

Т. 54, стр. 35.

12

Н. Н. Гусев, «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого», М.—Л. 1936, стр. 613.

13

В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 296.

14

Т. 73.

15

Т. 54, стр. 306.

16

В. Г. Короленко, «Воспоминания о писателях», изд. «Мир». 1934, стр. 162.

17

Письма Горького о Толстом. Публикация К. П. Пятницкого в «Красной газете», вечерний выпуск, 1928, № 257.

18

Т. 73.

19

Т. 25, стр. 394–395.

20

В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 323.

21

Там же.

22

Там же.

23

Там же, стр. 294.

24

Записи П. А. Сергеенко – «Литературное наследство», № 37/38. М. 1939, стр. 548.

25

«Театр и искусство», 1911, № 20.

26

Сборник «Ленин о литературе», М. 1941, стр. 250–251.

27

В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 324.

28

См. наст. том, стр. 521.

29

Там же, стр. 521–522.

30

Там же, стр. 524.

31

См. наст. том, стр. 521.

32

В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 30.

33

В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 30–31.

34

См. наст. том, стр. 172.

35

Там же, стр. 157–158.

36

См. в настоящем томе варианты статьи «Рабство нашего времени», стр. 495–496.

37

Гл. VII статьи «Рабство нашего времени».

38

См. наст. том, стр. 174.

39

Там же, стр. 174–175.

40

Там же, стр. 180.

41

См. наст. том, стр. 183.

42

Там же, стр. 184.

43

В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 183.

44

Там же, т. 17, стр. 30.

45

«0 переписи в Москве», т. 25, стр. 180.

46

Т. 36, стр. 230.

47

В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 295.

48

См. наст. том, стр. 210.

49

См. наст. том, стр. 177.

50

Запись в Дневнике Л. Н. Толстого от 3 февраля 1898 г., т. 53.

51

См. наст. том, стр. 201.

52

См. наст. том, стр. 205.

53

Там же, стр. 240.

54

См. наст. том, стр. 240.

55

Там же, стр. 241.

56

Там же, 244.

57

См. наст. том, стр. 212.

58

Там же, стр. 213–214.

59

См. наст. том, стр. 278.

60

Там же, стр. 330.

61

В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 295.

62

Там же.

63

Там же.

64

Там же.

65

Там же, т. 34, стр. 384.

66

М. Горький, В. И. Ленин – в сб. «Ленин о литературе», М. 1941, стр. 268.